

Н. Долинина

## Совет в Филях

Когда роман Толстого вышел в свет, далеко не вся критика была в восторге от этого произведения. Один из участников Бородинской битвы писал, что он не мог «без оскорбленного патриотического чувства дочитать этот роман, имеющий претензию быть историческим». Другой критик обратился к Толстому с такими словами: «Какой бы великий художник вы ни были, каким бы великим философом вы себя ни мнили, а все же нельзя безнаказанно презирать свое отечество и лучшие страницы его славы».

Что же так оскорбляло этих людей, в чем они видели презрение Толстого к своему отечеству? В той правде, которую сказал писатель о войне. Им хотелось бы прочесть книгу о легкой, бескровной победе над Наполеоном. Их не устраивало то, что война в книге Толстого — некрасива, безобразна, безнравственна.

«Над всем полем, прежде столь весело-красивым, с его блестящими штыками и дымами в утреннем солнце, стояла теперь мгла сырости и дыма и пахло странной кислотой селитры и крови. Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на убитых, на раненых, на испуганных, и на изнуренных, и на сомневающихся людей. Как будто он говорил: «Довольно, довольно, люди. Перестаньте... Опомнитесь. Что вы делаете?»».

Такая война не нравилась некоторым критикам. Им хотелось прочесть о войне, описанной Бергом: «Армия горит духом героизма... такого героического духа, истинно древнего мужества российских войск, которое они... выказали в этой битве 26-го числа, нет никаких слов достойных, чтоб их описать...» Но эти люди, предпочитающие манеру Берга, ошибались: патриотическое чувство в книге Толстого было, и оно было честнее и сильнее, чем заклинания противников романа. Война у Толстого выглядела некрасиво и устрашающе, но люди шли на нее без громких слов, потому что не могли не идти; когда решалась судьба России, они вставали на защиту своей страны, зная, что пуля не помилует, и стояли насмерть. Так видел войну Толстой, и это ценили в нем другие современники.

Первый подробный разбор «Войны и мира», сделал критик Н. Страхов. Он писал, что «Война и мир» «подымается до высочайших вершин человеческих мыслей и чувств, до вершин, обыкновенно недоступных людям».

Глава о совете в Филях, принадлежит, по-моему, к тем вершинам человеческих мыслей и чувств, о которых писал Страхов.

Толстой мог бы рассказать о военном совете, на котором решилась судьба Москвы, с точки зрения одного из генералов — например, Бенигсена, спорившего с Кутузовым. Бенигсен считал, что Москву нельзя отдавать без боя, и, вероятно, в душе ненавидел и презирал Кутузова, решившегося на такой шаг.

Можно было показать совет глазами Кутузова, одинокого в своем непоколебимом решении спасти армию и для этого отдать Москву.

Толстой выбрал иной путь. Смелость, с которой он показал Бородинское сражение глазами ничего не понимающего Пьера, — даже эта смелость меркнет перед решением показать совет в Филях глазами ребенка, шестилетней крестьянской девочки Малаши, забытой на печке в комнате, где идет совет.

Малаша не знала того, о чем мы прочли в предыдущих главах: Кутузов еще в день Бородина хотел атаковать французов, но это оказалось невозможно из-за огромных потерь, понесенных армией. Малаша не знала, что один только вопрос занимает теперь Кутузова: «Неужели это я допустил до Москвы Наполеона, и когда же я это сделал?»

Но Малаша видела, что «дедушка» (так она про себя называла Кутузова) сидел отдельно от всех, «беспрестанно побряхтывал и расправлял воротник сюртука, который, хотя и расстегнутый, все как будто жал его шею».

Глазами ребенка мы еще острее видим, как грустен Кутузов, как ему тяжело, как он прячется в темном углу и не хочет, чтобы члены совета видели его лицо.

Все долго ждали Бенигсена, который «доканчивал свой вкусный обед под предлогом нового осмотра позиции». Но, едва войдя в избу, он открыл совет вопросом: «Оставить ли без боя священную и древнюю столицу России или защищать ее?»

Несколько дней назад на Бородинском поле мы слышали, как Кутузов сказал, что скоро неприятеля погонят «из священной земли русской» — и перекрестился и всхлипнул. Эта сцена вызвала у нас волнение, жалость, гордость — множество чувств, только не раздражение.

Теперь Бенигсен говорит о священной столице — и это раздражает, как скрип ножа по стеклу; напыщенностью веет от его слов — почему?

Малаша ни слов этих не поняла, ни, тем более, не могла бы почувствовать в них фальши, но в душе она невзлюбила «длиннополого» Бенигсена так же безотчетно и сильно, как полюбила «дедушку» Кутузова. Она заметила другое: Кутузов «точно собрался плакать», услышав слова Бенигсена, но справился с собой. Он почувствовал «фальшивую ноту» слов Бенигсена и подчеркнул ее, повторив сердитым голосом: «Священную древнюю столицу России!..»

Бенигсен думает только об одном — как он выглядит на военном совете. Многим из присутствующих генералов больно и тягостно обсуждать вопрос: оставить ли Москву. Но многие, и Бенигсен в их числе, озабочены тем, как бы снять с себя ответственность за то, что неминуемо произойдет. Произнести такие слова, которые потом, позже, будут красиво выглядеть в истории. Вот почему его слова нестерпимо слышать: даже у ворот Москвы он думает не о судьбе России, а о своей роли в этой судьбе.

Кутузов о себе не думает. Для него существует один вопрос: «Спасенье России в армии. Выгоднее ли рисковать потерей армии и Москвы, приняв сражение, или отдать Москву без сражения?»

Малаша не понимала, что другие генералы тоже участвуют в споре. «Ей казалось, что дело было только в личной борьбе между “дедушкой” и “длиннополым”... и в душе своей она держала сторону дедушки».

Глядя на совет глазами Малаши, мы ничего не слышим, но замечаем «быстрый лукавый взгляд», брошенный Кутузовым на Бенигсена, и понимаем, что «дедушка, сказав что-то длиннополуму, осадил его». Кутузов напомнил Бенигсену его поражение в битве при Фридланде, где он выдвигал те же предложения, что и сейчас, и наступило молчание.

Глава о совете в Филях уместается на трех страницах, но она одна из самых важных в романе не только потому, что в ней решается роковой вопрос об оставлении Москвы. Глава эта потому поднимается «до высочайших вершин человеческих мыслей и чувств», что в ней идет речь о той степени ответственности, которую иногда, в трудные минуты, человек бывает обязан взвалить на себя; о той степени ответственности, на какую способны далеко не все люди.

Вот сколько их сидит, боевых генералов, и вовсе не все они такие, как Бенигсен; среди них — храбрецы, герои: Раевский, Ермолов, Дохтуров... Но ни один из них не решается взять на себя ответственность и произнести слова: нужно оставить Москву, чтобы спасти армию и тем спасти Россию.

Потому и наступило молчание, что все поняли доводы Кутузова, но никто не решился их поддержать. Только один Кутузов, зная, что его будут обвинять во всех смертных грехах, имеет мужество забыть о себе: «медленно приподнявшись, он подошел к столу».

— Господа, я слышал ваши мнения. Некоторые будут несогласны со мной. Но я (он остановился) властью, врученной мне моим государем и отечеством, я — приказываю отступление».

И снова — эти высокие слова: «властью, врученной мне моим государем и отечеством», — в устах Кутузова не только не раздражают, они естественны, потому что естественно и величественно чувство, породившее их.

Оставшись один, он думает все о том же: «Когда же, когда же наконец решилось то, что оставлена Москва? Когда было сделано то, что решило вопрос, и кто виноват в этом?»

Он не винит Баркляя или кого-нибудь еще, не оправдывает себя, не думает о том мнении, какое будет теперь иметь о нем петербургский свет и царь, — он терзается за свою страну...

«Да нет же! Будут же они лошадиное мясо жрать, как турки...» — кричит он поздно ночью те же слова, которые сказал князю Андрею, когда только что был назначен главнокомандующим...

И будут. Именно потому будут, что старый немощный человек нашел в себе силы медленно подняться на военном совете в крестьянской избе в Филях и взять на себя ответственность за отступление от Москвы.